

Как он съел собаку

Что понял о жизни и искусстве Евгений Гришковец

**Вера ЦЕРЕТЕЛИ,
для «Новых Известий»**

— Евгений, как вам удается делать спектакли для всех?

— Именно на любого и рассчитан спектакль — вне зависимости от страны проживания, возраста, профессии. Я его играл в Лондоне, возил по всей Германии, были Швейцария, Франция, Польша, Финляндия, Швеция.

— А живете постоянно в Москве?

— Нет. В Москву приезжаю только на гастроли. Меня, кстати, в Питере потому так сильно любят, что я не московский. Все время пытаются спровоцировать на антимосковские разговоры, а я в них никогда не участвую.

Я родился в Кемерово, а в 98-м году переехал жить в Калининград, в Кенигсберг.

— Почему именно эту точку на земле вы выбрали?

— Как писал Бродский, «если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». Так вот, это глухая провинция — чудесная, удобная, прекрасная. Сейчас мы купили маленький домик у моря с яблонями, зеленой, и все там живем.

— Все — это кто?

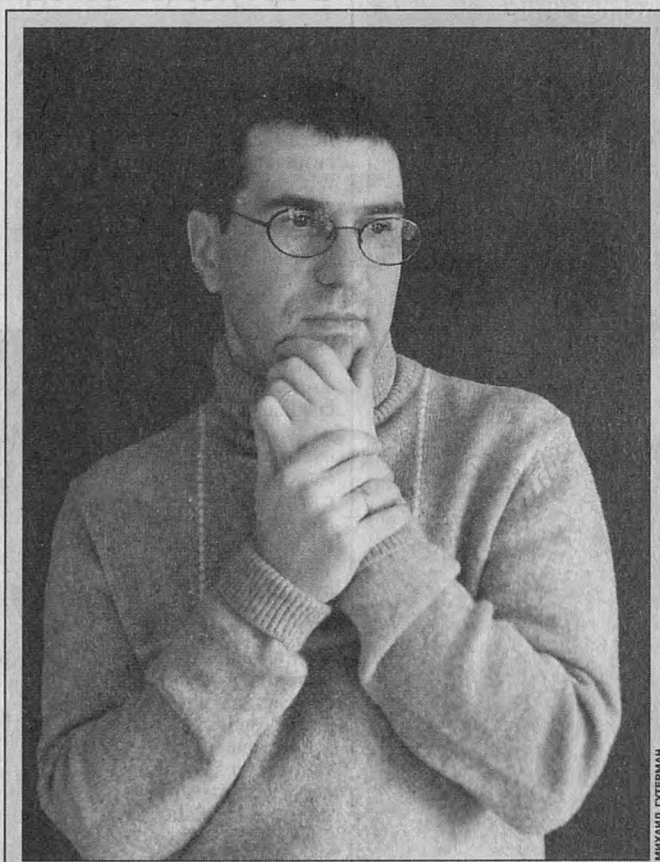
— У меня жена, дочь и сейчас приехали мои любимые родители. У меня еще есть брат, которому всего пятнадцать лет. Так вот от нашей провинции 120 км до Гданьска, 160 до Берлина и 240 до Варшавы. Я сыграл спектакль в Варшаве, звоню в Калининград, спрашиваю, как быстрее добраться. Мне говорят, да выезжайте такси.

— Европейский дух в бывшем Кенигсберге по-прежнему ощущается?

— Да. Там жил Кант. Он преподавал всемирную географию в университете, но ни разу в жизни не выехал из Кенигсберга. И еще одна достопримечательность: я живу в ста метрах от того места, где родился Гофман. Здесь я понял, наконец, почему он так много писал про грецкие орехи и Шелкунчика. Там растет грецкий орех, но он не вызревает и остается маленьким и молилитным — его невозможно разбить. И вот мальчик Гофман брал эти орехи, бил их молотком, зажимал между дверями, ломал двери, а его папа, наверное, удивлялся, почему опять сломана дверь, и ставил сына в угол. У Гофмана этот орех застрял в голове навсегда, вот он и придумал Шелкунчика. Это мое открытие.

— Чему и где надо учиться, чтобы состояться, как вы?

— Надо не обижаться. Это самая главная наука. Я делал спектакль «Как я съел собаку», где я рассказывал про службу на флоте, и говорил там нелюбимые вещи. Я рассказывал универсальную историю взросления. Если бы я не повзрослел так, я повзрослел бы иначе. Но



МИХАИЛ ГИТЕРМАН

Тридцатичетырехлетний Гришковец едва ли не возглавляет сегодняшний список модных российских драматургов. Обладатель двух «Золотых масок» (в номинациях «Новый театр» и «Приз критики», когда из 80 критиков за него проголосовали 68), лауреат молодежного «Триумфа», он становится в московских и питерских театрах, ему аплодируют в Европе... Для интервью Гришковца удалось поймать в Тбилиси, где на фестивале «Арт-Груз» с большим успехом был сыгран его моноспектакль под названием «Одновременно».

самое главное, там нет обиды на то, что было. Человеку через многое надо пройти, чтобы добыть драгоценный опыт. Мне казалось, что после закладки на флоте я уже все знаю, что это уже навсегда. И вдруг перестройка, все перевернулось, и тот мой опыт оказался прошлым. Опять все надо было начинать сначала. И так всю жизнь. Я играю этот спектакль в настоящей матросской рубке, но старого образца. Ее перестали выпускать уже в семидесятый год. Мне привез эту форму вице-адмирал, командующий Балтийским флотом, он ее нашел на стратегических складах в Санкт-Петербурге.

— А почему вам такие привилегии от военных?

— Меня любят моряки. Был такой случай. После спектакля, я играл на «Маске», в моей гримерной стоит Максим Суханов, Олег Янковский, все разговаривают, смеются. И вдруг заходит человек, который явно никогда в гримерках не бывал. Ему лет 50, он седой, большой, красивый, и у него слезы на глазах. Он

так, не глядя, раздвигает всех, идет ко мне. Подошел, пожал руку и сказал: «Спасибо. Я был командиром крейсера». И пошел. Максим Суханов вслед ему, негромко: «А он не наврал?». Он поворачивается и говорит: «Моряки вообще не врут». Этот человек в первый раз в жизни пришел за кулисы. Ему нужно было это сделать. Вот — событие.

— И все-таки, где вы учились?

— Я заканчивал Кемеровский государственный университет, филфак. Я литературовед. Все время занимался Гумилевым, вернее, проблемами композиции. Три года я сидел над этой работой, потом в 91-м году меня пригласили в Бостон — преподавать и заниматься стиховедением. Но тогда у меня уже были некоторые успехи с моей Кемеровской труппой, и я решил, что бросаю науку. Позже, когда я сидел без денег и ходил по Москве пешком, начал сомневаться: не зря ли это сделал. А сейчас думаю, что не зря. Потому что в Бостоне хуже, чем здесь.

— Сколько всего у вас пьес?

— Три пьесы и два монолога. Причем монологи я сначала играю, потом их записываю.

— С кем из писателей вы ощущаете духовную связь?

— Самый близкий мне автор — Бунин. У меня магическая связь с его «Жизнью Арсеньева», я не могу это читать, я начинаю плакать после нескольких страниц, мне его читает жена вслух. Я знаю этот текст наизусть и все равно хочу его слышать.

— А какие пьесы любите?

— Первую часть «Гамлета». Вторая часть, по-моему, неудачная — все, что касается сумасшедшей Офелии просто невозможно ставить. Потом «Вишневый сад» Чехова и «На дне» Горького.

— Абсурдистов не принимаете?

— Нет. Хотя я считаю, что Беккет был довольно нежный человек, но в то же время это не мое.

— По вашим словам, спектакль можно поставить, имея в кармане пять долларов...

— Абсолютно. Зрителю, как говорил Питер Брук, нужен человек, который рассказывает историю. Те два спектакля, благодаря которым я стал известен, — они сделаны никак. То есть, они сделаны дома. Первый раз я играл «Как я съел собаку» для семнадцати зрителей в курилке у заплата Театра Армии. «Одновременно» я играл на фестивале «НЕТ» («Новый европейский театр») — без репетиций, для них у меня не было возможностей. Если бы я сейчас стал делать спектакли таким же манером, мне бы сказали: «Это уже было».

— Вам сказали бы: «Не прибедайтесь».

— Да, потому что это было бы нечестно. Мой новый спектакль будет стоить 30–40 тысяч долларов, но я сделаю так, чтобы это не бросалось в глаза. Это лишь будет приятным фоном, прежде всего для актрисы.

— Где и с кем это будет?

— В Москве, в «Школе современной пьесы». С кем, сказать пока не могу.

— А еще что-нибудь ваше сейчас в Москве ставится?

— «Город» — во МХАТе. Там будут заняты очень хорошие артисты. Я представляю, как может сыграть главную роль Жени Миронов, что, вполне возможно, и случится.

— Вы сами считаете себя кем?

— Я себя считаю русским драматургом, при этом я всегда из своих спектаклей убираю все сугубо национальное и оставляю только то, что универсально. Зрителю всегда нужен тот человек, которого он готов услышать, который живет с ним в одно время, т.е. универсальный. И при этом, только будучи по-настоящему национальным драматургом — русским, грузинским, немецким, ты можешь стать универсальным. Только в этом случае.

— В театре самое главное — универсальность?

— Я полагаю, что это единственный вид искусства, где присутствует живой человек, и это искусство принципиально не фиксируемо. И только в театре есть коллективное восприятие. Сейчас ведь проблема театра не в отсутствии современной пьесы или современной режиссуры, а в отсутствии некоего единства в зале. Сидят люди с разными политическими взглядами, образованием... Даже если бы я заявил в спектакле нечто поколенческое, я сразу отсекал бы и очень молодых людей, и очень пожилых. В театре нужно быть универсальным на всех уровнях. Забудьте, в спектакле я никогда не высказываю мнение, я никогда не говорю — мне нравится или не нравится, потому что если скажу, сразу появится половина зала или треть, которые не будут согласны со мной, а какая-то часть будет очень согласна, и возникнут разные полюса в зале. Мне нужно оставаться чистым от мнения, чистым от исторического времени.

Я очень тщательно выверяю текст с точки зрения не только мнения, но и универсальной детали. Например, если я буду рассказывать где-то в Швейцарии, что в школу ездил, когда был маленький, на автобусе. И скажу, что автобус был старый «ЛиАЗ», в котором все скрипело, там сильно пахло солоньяком и номер был 49, и шел он по улице Валентины Терешковой, — я все убью в восприятии швейцарца навсегда. Он не будет ассоциировать эту историю с собой. А вот если я скажу, что автобус был большой, потому что я был маленький, что в автобусе был особый запах (ясно, что автобус в Сибири пахнет по-другому, чем в Швейцарии, но в автобусе всегда есть свой запах), что я был маленький, и родители давали мне держать билет, потому что я хотел что-то серьезное делать — тогда эта история остается универсальной на всех уровнях. Мой текст не важен, а важно, что я говорю на общечеловеческие темы и не высказываю собственного мнения.

— Вы боитесь спровоцировать зрителя?

— Я точно знаю, как воспринимается мой текст. Сейчас устарел термин «маленький человек». Он больше не работает. Потому я ввожу понятие «нормального человека». Я знаю, как воспринимает то, о чем я говорю, нормальный человек. Но я этим никак не манипулирую. Просто я очень внимательно слушаю зал.

— Чем отличается московский зал от лондонского, питерского, тбилисского?

— Всем.

— Но вы же говорите общечеловеческие, понятные вещи.

— А разные темпераменты, разная культура? Ты приезжаешь в го-

род, где театра как такового не было. Зрители смотрят на тебя — вот выходит человек и начинает что-то говорить. Они привыкли к тому, что театр — нечто помпезное. А мой выход для них — не театр. И некоторое время ты борешься с залом, ты доказываешь им, что это можно смотреть. Темпермент тоже важен. В Финляндии играешь, и кажется, что тебя вообще никто не слушает, ничего не выражающие лица и тишина. Там, где обычно потолок падает от смеха, возникает некое подобие смеха.

Тбилисская публика не простая, совсем не простая. В питерская публика не простая. В Москве я играю, как будто я футболист. Такое ощущение, что я на стадионе, потому что все время драйв, все время аплодисменты, все время смех. Это тоже неправильно. Вот когда я играл в Берлине и говорил про шнурки погибшего немецкого солдата, не представляете, какая была тишина. И это такое счастье...

— Как появился в спектакле кусок о Грузии? Вы же никогда прежде здесь не бывали...

— Существует некий миф о Грузии. Грузинские короткотетражки любили хоть во Владивостоке, хоть в Кемерово. Их все знали: «Бабочка», «Кувшин»... Так вот, во всей стране есть любимый миф о Грузии, о гостеприимстве, о котором все мечтают, и ждут его, и опасаются его не получить, и поэтому боятся ехать. Но в этом варианте я играл спектакль в последний раз. Нельзя продолжать мечтать о стране после ее посещения.

— Что вы открыли для себя здесь?

— Открытый масса. Я обязательно напишу маленькую историю про Тбилиси. И обязательно приеду сюда еще. Это мой город, я его чувствую. Здесь мне не надо никуда бежать, спешить, я смотрю, как на улице часами стоят люди и о чем-то говорят. Мне тоже хочется постоять с ними. Я готов прервать свой контракт в Швейцарии, хотя там платят много, и приехать сюда, где мне не платят ничего, и играть спектакли. Потому что для меня это существенно важнее. При этом я не буду чувствовать себя так, будто я сделал какой-то шершлый жест или подарок, нет. Отношения должны быть взаимно жизненно необходимыми, такое общение имеет гораздо большее значение, чем какие угодно миссии.

— Чего ждут люди от театра сегодня?

— Именно в театр люди приходят с надеждой услышать что-то про себя. В кино приходят посмотреть историю про кого-то, они знают заранее, что здесь увидят. В театре же, сколько бы ты ни прочитал статей о спектакле, ты никогда доподлинно не можешь знать, что ты увидишь, здесь всегда есть надежда и волнение. В театре все зависит от всего.